

Николай
КЛИМОНТОВИЧ

Забегим в год, что-нибудь 79-й. Мы сидим на кухне маленькой двухкомнатной кооперативной квартиры Жени Харитоновой, нишей купеческой квартирки, то-гдашнем предмете моего постоянного вожделения и зависти, купленной им на деньги родителей и в результате фиктивного брака на москвичке (сам он был из Новосибирска), быть может, чуть выпиваем и говорим, конечно же, об отечественной словесности (лишь много позже стало неловко в кругу литераторов обсуждать этот наивный предмет). Не помню, к чему, но Женья вспомнил, как в давние годы, учась во ВГИКе на актера, получил от кого-то из соучеников-москвичей перепечатанные на машинке стихи: «Полина, полынная моя, ведь если лобят — значит губят» и т.д. Тогда он был пленен ими, даже переписал, но теперь не помнил имени автора. «Леня Губанов», — сказал я, — это мой приятель. Более того, он и живет неподалеку».

Женья восхитился. И спросил, не могу ли я его с Губановым познакомиться. «Хоть сейчас», — ответил я и набрал телефонный номер...

Сказать по правде, Леню я к тому времени не видел уж пару лет. А ведь какой-то, и немалый срок мы общались чуть не ежедневно. Наше знакомство произошло заочно, причем он об этом, как и положено автору, не подозревал. Дело было в 64-м. Я отчетливо помню, как в купе поезда, везущего всю семью — за исключением бабушки — в Литву, в сторону иоильской Паланги и балтийского приюта, я открыл свежий номер журнала «Юность». И помню, у меня, тринадцатилетнего (я был глотательный книги мальчик, но, увы, ничего не понимал в стихах и переписывал в заветную тетрадь что-то вроде «помню я девочку с серыми глазами, что могла моей женою стать»), перескочило дыхание, когда я прочел такую строфу:

*Холст 37 на 37,
Такого же размера рамка,
Мы умираем не от рака.*

Забегая вперед, надо сказать, что намеки на 37-й год (он всем услышался тогда в этих строках), как я теперь понимаю, отсутствовал. Речь шла о тридцатисемилетнем возрасте, роковом для русских поэтов. Леня провидел свою судьбу уже в шестнадцать: он действительно умер в тридцать семь — не от рака и не от старости — от алкоголя.

Стихотворение называлось «Художник». Как я узнал много позже, это были три четверостишья, выхваченные Евгением Евтушенко из разных мест шестнадцатилетней Ленеиной поэмы, той самой «Полины», вполыхав склеенные и поименованные. Ибо вся поэма — по причинам отнюдь не столько цензурным, сколько чрезмерной младости и неведомости автора — пройти в печать никак не смогла бы. Но вот что доказывает закономерность моего тогдашнего восторга: эти двенадцать строк вывели дюжину возмущенных, плюющих ядом, фельетонов в дюжине московских изданий, от «Крокодила» до «Комсомолки», почти что по одному отзвучу на всякую строку, почти по плевок на каждый прожитый год юного сочинителя. И эти три строфы так и остались единственной прижизненной публикацией Губанова на родине, а эти оскорбительные рецензии — так никогда и не зажившей раной Ленеиной души.

Но лично мы познакомились с Губановым много позже, в начале 70-х, когда его скандальная московская слава почти уж сошла на нет. Кто меня с ним познакомил — убей, не помню. Тогда, только ступив на «скользкую дорожку», я так закружился в новом для меня божьем кругу, что лица мелькая калейдоскопически, я сам пользовался известным успехом со своими ранними рассказиками, и восстанавливал последовательность ежедневных новых встреч и знакомств теперь решительно невозможно.

Так или иначе, но мы быстро с Леной сошлись. Это было тем более легко, что, как это и случается рано или поздно с тяжело пишущими людьми, он был уже неразборчив в знакомствах, к тому же, как свойственно лирическим поэтам, образный эгоцентризм, так что было бы преувеличением сказать, что он полюбил меня, как «младшего брата» по русской словесности, «за дар». Скорее, за некоторую «культуру» и за то, что я был — по его меркам, конечно, — из обеспеченной семьи и у меня всегда можно было стрелнуть денюжку и на выпивку, и на опохомелку. Кроме того, я искренне восхищался им, поддерживая тем самым его славу, так сказать, последним эшелоном, потому что даже в тех домах, где он блистал когда-то, уже перестали его принимать.

Так, во всяком случае, мне казалось, поскольку Леня не был

сентиментален в жизни. Но пару эпизодов, свидетельствующих об искренне теплом его расположении ко мне, все же можно припомнить. Как-то он пришел в восторг от моего рассказа под названием «Как дела, кисюля?», который я читал в какой-то компании, и стал говорить, что непременно познакомит меня с тем-то и тем-то, и действительно не забыл это сделать.

В другой раз, за несколько лет до смерти, он позвонил и настойчиво просил меня приехать. Понимая, что речь, скорее всего, идет об опохомелке, я тем не менее поехал в Кунцево. К моему удивлению, он был решительно трезв и собран. Оказалось, он только что закончил правку одного из своих последних циклов (он писал «сборниками», и так это потом и опубликовалось — «Серый конь», «Волчий ягод», «Дуэль с Родиной» и др.) и попросил меня сравнить варианты. Когда я просмотрел правленную рукопись, впечатление у меня осталось самое тяжелое: он безбожно портил собственные стихи, «шлифуя» их, делая «грамотнее», глаже — и мертвее. По-видимому, он еще надеялся хоть что-то опубликовать в СССР, подобно тому как Высоцкий-бард до последнего дня наивно уповал на официальное признание. Поэтому позже, уже в неподцензурные времена, когда составители советовались со мною, какие варианты Ленинских стихов печатать, я настаивал на ранних, так сказать, оригинальных...

Но все это было позже. К моменту же нашего знакомства о его прежних триумфах — и поэтических, и донжуанских — я был очень наслышан. И о том, как его принимал на даче опальный Хрущев, и как за ним бегали иностранные корреспонденты, и как он спал с самыми блестящими дамами Москвы... Тогда ведь еще были времена, когда русские женщины в масовом порядке «губы, падая, давали», а подчас нештучно влоблялись и «служили» — за талант и непризнанность, но теперь эта порода экзальтированных поклонниц как-то враз перевелась в окопистско-террорных кругах, уйдя, по-видимому, в сферу большого шоу-бизнеса; и, возможно, лишь где-нибудь в глубинке библиотекарши или учительницы еще проливают слезы над текстами невестранных суровой эпохой поэтических талантов и бегают по утрам им за четвертинкой.

Но все это к слову. Леня действительно пользовался огромным успехом у дам, при этом на записном соавторстве он был решительно непохож: коренный, с физиономией самой пролетарской, с носом уткой и страшно губастый — оправдывая фамилию. Да и его любовная лирика была скорее реестром неудач, чем списком побед.

*Я иду к тебе как-то пьяненький,
Завалюсь во двор, буду стесняясь бить,
А в кармане моем кулек пряников
Да потом еще что жевать да пить.
Выходи, скажу, девка подлая,
Говорить хочу все, что на сердце.
А она в ответ: а ты — не подлинный,
А ты валяй к другой,*

*не то хватится...
Я иду домой, словно в озеро
Карасем плыву из мошин,
Сколько девок мы к черту бросили,
Скольким сами мы не нужны...*

Кстати, Андрей Битов цитировал это и несколько других Ленинских стихов из цикла «Серый конь» в повести середины 70-х «Улетающий Монах», попутно рисуя и портрет самого автора, названного им, понятно, Ленеичкой. И эти контрабандные строки, принадлежавшие как бы битовскому придуманному персонажу, приплюсовались к тем двенадцати и стали как бы второй Лениной прижизненной публикацией.

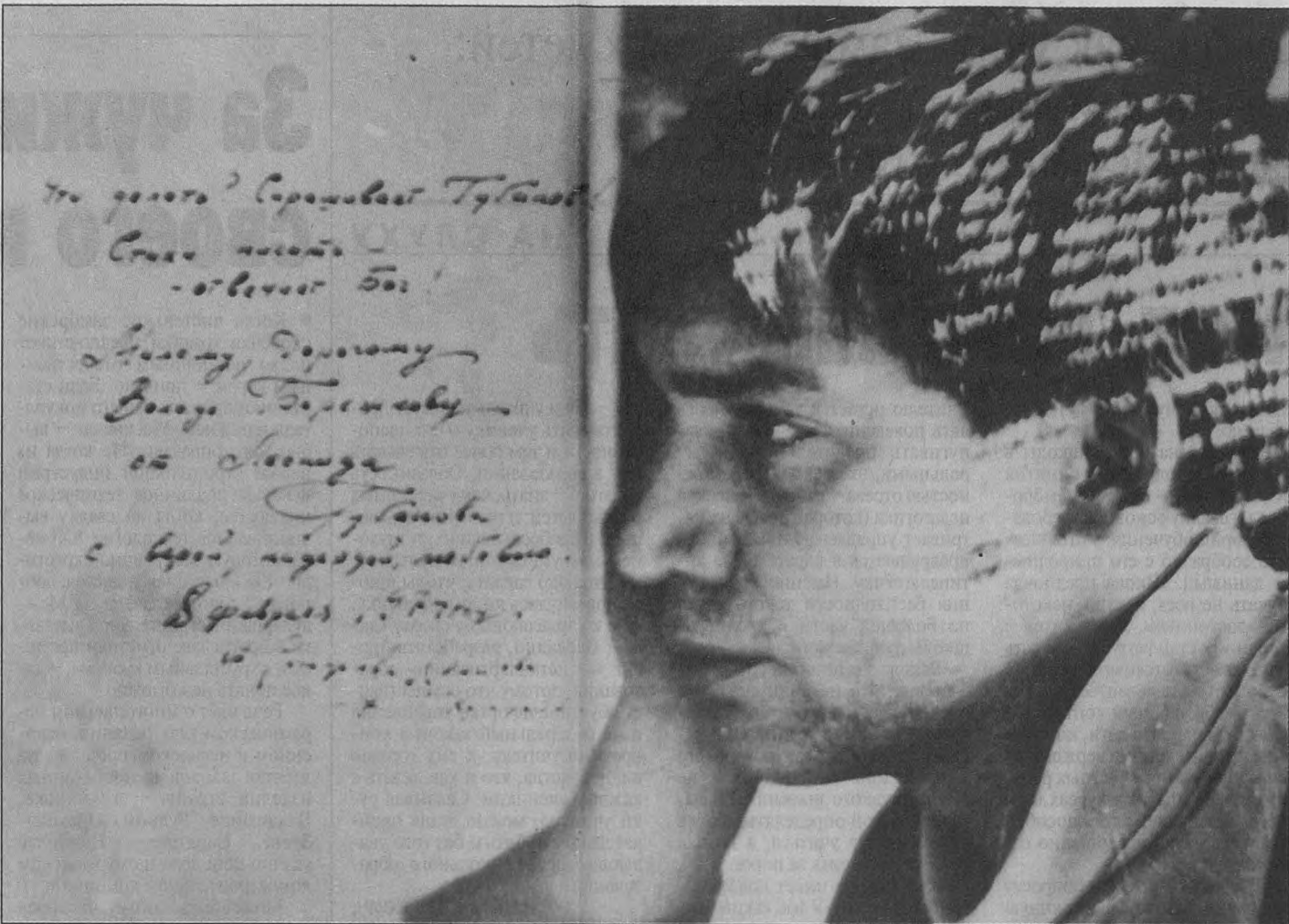
Но вот еще из Лени:

*Этой женщине с кожей тоненькой,
Этой женщине из изгнания
Будет зроб стоять в ятлом тамике
Неизвестного мне издания...*

Какой контраст с самодовольным в любовной лирике Есениным, уставшим от женского обожания. И какая свобода и подлинность интонации, совершенно немыслимая в официальной советской поэзии брежневских лет. Да что в поэзии — даже в повседневной лексике.

Мне недаром пришлось на язык Есенин. В своем жизнеустройстве, если к Ленеичке приложимо это слово, скажем, в жизнепоток, он продолжал линию Есенина и Павла Васильева, а читая о Поплаванском и записные книжки последнего, недавно у нас изданные, полагаю — что и этого парижского эмигрантского гения, хотя Леня вряд ли о нем что-нибудь внятное знал.

Какжется, во всех этих случаях — по крайней мере, в первых двух — роковую роль сыграло то обстоятельство, что чрезмерный накал духовных сил не имел врожденно-культурного обеспечения, наследственной привычки к интеллектуальному труду. Это перенапряжение неотвратимо делало из



На встрече с бедой

Леонид Губанов вышел в 16 лет

Стихи Леонида Губанова, разбросанные по эмигрантской печати, куда они попадали без ведома автора, и по архивам друзей, были собраны Игорем Дудинским в сборник «Ангел в снегу» (ИМА-пресс, 1992, 1 тыс. экз.).

В 1997 году большая подборка напечатана в роскошном фолианте «Самиздат века» доступным тиражом по малодоступной цене (200 р.). Поэт еще ждет читательского открытия и полного издания своих самобытных стихов.

одареннейших от природы людей тяжелых психопатов. Алкоголь — самое доступное лекарство снимать этот конфликт дара и рода, хотя психопатию он только усугубляет. Ведь дворянские поэты не меньшего внутреннего горения никак не спивались, не вешались и не резали себе вен. А, скажем, написанный Некрасовым с Урала полутрагический романсет Решетников — из старообрядцев, все его никак не обремененный алкогольной наследственностью, — после первых же гонимых от «Современника» сплился в несколько месяцев и умер, заснув спяну на морозе на скамейке невольной набережной и подхватив инфлюэнцу.

Таких «разночинных» судеб русская культура знает множество: Гаршин, Помяловский, Николай Успенский, Саврасов, Мусоргский — ряд можно продолжать долго. И если уж давать советы Богу, то следует заметить, что, раздавая таланты и не веля их зарывать в землю, ему неилохо было бы поточнее сверять адреса...

Впрочем, знавшим Леню ближе, так сказать, социальная мотивация его пьяного конца. Действительно, очень рано почувствовав себя отмененным Богом и по юношеской наивности полагая, что его избранность должна с неизбежностью приводить в восхищение окружающих, он был совершенно не готов к игре на реальном литературном поле. Он ничего не ведал о всегда сложном раскладе в литературной среде, а также о том простом факте, что, даже если люди весьма талантливы, это отнюдь не с необходимостью делает их благородными и бескорыстными. А уж что в поэзии — даже в повседневной лексике.

К тому же, как кажется, как и положено неопиту, Леня верил в «братство поэтов», но совершенно не понимал, что такое реальная литературная — политическую он, как и все люди божьего тогда, конечно же, презирал — конъюнктура. Ему и в голову никогда бы не пришло, что в тогдашних условиях он мог быть сыгран, скажем, на своем происхождении. А оно было, кстати, по советским меркам безупречным в квадрате. Разумеется, он был безо всяких подозрений русским. Отец его был рабочий, как и старший брат, причем, думаю, из «сознательных», примерных, партийных и малопоющих. Мать же, по несповедности человеческих судеб, служила в ОВИРе, причем в

немалом чине, организации крайне олиозной и весьма бложкой, разумеется, к «органам». Надо сказать, что, кроме материнского (не оттого, ибо мать полностью верховодила в семье), другого дома он никогда не знал и так и скончался в отведенной ему с юности комнатке. Но — повторяю — если б ему дали в Союзе писателей анкету, то графу «происхождение» он, скорее всего, заполнил бы так: из русских поэтов».

К тому же он никогда не смог бы сочинить ни строки — для власти, каковое задание с трудом и весьма посредственно (и власти достало чужья эту натужность оценить) осилили даже Мандельштам и Ахматова, не говоря уж о любимом Ленеичкой Маяковском. Для этого Губанову просто не хватало бы житейской сообразительности. Но даже если предположить на миг, что судьба его в советском офицеро-зе все же сложилась бы, то — и это представляется мне совершенно неотвратимым — он все равно точно так же бы сплился, как прижизненный советский классик Твардовский, скажем, а его поклонники и лоборекатели сказали бы, что он не смог вынести «атмосферы» в Союзе писателей или что-нибудь в этом роде.

На самом деле Лене на роду было написано быть «проектным» поэтом со всеми сопутствующими этому алкогольными эксцессами; и уже по одному этому — остаться в России во втором ряду, что он, кстати, остро понимал и что было его незаживающей травмой. Он встал в совершенно органическую для него позу бунтаря уже в семнадцатилетнем возрасте и возманил СМОГ — «Самое Молодое Общество Гениев». Чтобы дать понятие о, так сказать, «эстетических принципах» СМОГа, достаточно нарисовать такую картинку: на поэтическом вечере в МГУ году в 1964-м пятнадцатилетняя участница общества Юлия Вишневская, чуть не в школьной форме, декламировала стих «Письмо Андре Жиду», заканчивавшееся приблизительно так: «вы самый обыкновенный педераст». Здесь более всего забавно, что содержание стиха полностью соответствовало официальной установке по поводу «органобитного» некогда СССР французского автора, и, если б не фразеология, его вполне можно было бы печатать в «Пионерской правде». В идеологическом смысле столь же невинны были стихи и других членов СМОГа. Лучшее,



Вячеслав Калинин. «Автопортрет», ставший портретом «другой» культуры, к которой принадлежал и Леонид Губанов

как считалось, стихотворение Володи Алейникова начиналось так: «Когда в провинции болеют тополя...» А Володя Батшев писал:

*А я иду чуть-чуть седой,
С утра зачем-то вытисни,
На встречу со своей бедой,
В глаза ее не видел...*

Согласитесь, эти элегии много невиннее, чем, скажем, «Бьют женщину» Вознесенского, неверно трактуемое тему повседневно-го быта советской творческой интеллигенции. Или таких «безнаправленных» вырвеш Евтушенко, печатавшихся в те же годы:

*В ЦПКиО, в ЦПКиО,
Миши еще не минированном,
Мысль одна — подцепить бы козу
В молодости доминировала...*

Или, наконец, ахмадулинское, тоже не слишком скромное:

*Я так же сбрасываю платье,
Как море сбрасывает пену...*

В случае со смогистами дело было не в художественном, а тем более идеологическом бунте — на футуристов они не тянули, — но в социальном эпатаже, хотя они и выходили как-то на демонстрацию под «эстетическим» лозунгом «Личный девственности социалистический реализм». Во-первых, власти пуше всего боялись любых «органобитных», а этим юным дарованиям пришла в голову самоубийственная в советские времена мысль организоваться в какое-то самостоятельное «общество» — помимо санкционированных властями. Да и формы их «борьбы», думается,

приводили в ярость КГБ: демонстрации, публичные коллективные камлания, манифесты, распространяемые в виде листовок. Даже если бы они посвятили свои усилия, скажем, пропаганде лозунга «Турист, свой край исследуй, изучай», то и тогда были бы на сильном подозрении и поплатились бы за излишнюю инициативность. А тут — литература, область сугубо идеологическая...

Не менее интересно и то, как долго вела этих самых смогистов терпели. Еще не было Чехословакии, расставившей все по своим местам. Хотя прошел уже процесс Синявского — Даниэля, но в не-предложности его итогов как бы еще не верилось. Не было прецедентов репрессий в отношении юности, сочинявшего вполне невинные стишата (на недолгом отрезке хрущевской «оттепели»). Правда, уже была разогнана поэтическая волынка «у Маяка» — свободные чтения стихов у памятника Маяковскому — и сурово покаран самиздатский «Синтаксис». Но, во-первых, «у Маяка» звучали такие, скажем, строки:

*В этом мире насилья,
в этом мире растлений
Если ты не растерян —
Значит, душу твою растлили...*

Во-вторых, организация самостоятельного журнала была уже уголовно наказуемым деянием. С этими же смогистами, мальчиками и девочками, вечерами школьниками, играющими «с самых молодых гениев», власти, по-видимому, долго не знали, как поступить. Дело решил, кажется, ве-

чер смогистов, организованный в Союзе писателей Генрихом Сапгиром. Это был весьма непродуманный ход, ибо писательская общественность куда более рьяно, чем даже «ястребы» из КГБ, блюла идеологическую невинность.

После этого злосчастного братания «молодых гениев» со старшими товарищами Генриха выставили из Союза. Леню посадили в психушку, откуда, впрочем, его скоро забрала мама. И лишь один Володя Батшев действительно пострадал — его отправили в административную ссылку в Красноярский край «за тунеядство», помните — «на встречу со своей бедой». На этом СМОГ прекратил существование. Тут-то, по-видимому, и началась самая блестящая полоса Лениной карьеры непризнанного гения. Как мне рассказывали, он был буквально нарасхват. Стихи в ту пору из него лились рекой — причем почти гениальные чередовались с почти графоманией. Он сильно в те годы, так сказать, имажинистовал (в юности он был проще и органичнее):

*На голове моей накопились яблоки,
Вишневое пенье не гребит старух,
И на ночь мне привели болырино,
И Славу подали*

к утреннему столу...

Кстати сказать, мотивы победительного шествия по жизни парвеню и незаконной обделенности славой были у Лени в ту пору едва ли не сквозными. Позже, к несчастью, у него возникли и ноты политически-диссидентские, делавшие его стихи просто ходячими. Скажем, уже в 70-е он громоздился читал на публике поэмы «Дуэль с Родиной» или «Золотая фреска Вадиму Делоне», объявляя перед началом чтения: «Теперь стукачей прошу выйти из зала», — а в его публичном поведении явно стали проскальзывать нотки дурного вкуса. Он потерял грань между поэтическим эпатажем и простым хулиганством, даже хуже — хамством (впрочем, он всегда в таких случаях бывал пьян). Но тогда, в конце 60-х, он писал дивную лирику. Скажем, стихи, посвященные бывшей жене Алене Басиловой:

*Я не мечтаю о былом,
Мои воспоминания — лом,
Но я себя на том ловлю,
Что все равно тебя люблю...*

И дальше:

*Но нет тебя и нет тебя,
Как нацарапала Марина,
Меня графини теребят,
За мной ухаживают вина...*

Заканчивается это стихотворение таким аккордом:

*Кори звезды сдох не кори,
Любовник идол. Пора бы мужу
Дать телеграмму, что в крош
Наша заплаканная Муза.*

Но так или иначе, даже на неудачных его стихах, на всем, что слетало с его уст, был налет какого-то божественного, экзотического вдохновения, как это бывало у пророчествовавших юродивых на Руси.

Впрочем, он и был юродивым, — во всяком случае, ко времени, когда мы познакомились, отлично справляясь с этим амплуа. Хорошо помню, как он исповедь навязал мне роль едва ли не доктора при нем; и должен был отнимать у него очередную рюмку, он при этом споньяво канючил: «Ну, Колька, ну дай еще выпить». И все это на публике, конечно. Он являлся ко мне с какими-то истерическими деланиями, которых неизменно представлял «женами» — на распутинский, так сказать, манер. Помнится, одна из них пыталась повестись за изилишную инициативность. А тут — литература, область сугубо идеологическая... Не менее интересно и то, как долго вела этих самых смогистов терпели. Еще не было Чехословакии, расставившей все по своим местам. Хотя прошел уже процесс Синявского — Даниэля, но в не-предложности его итогов как бы еще не верилось. Не было прецедентов репрессий в отношении юности, сочинявшего вполне невинные стишата (на недолгом отрезке хрущевской «оттепели»). Правда, уже была разогнана поэтическая волынка «у Маяка» — свободные чтения стихов у памятника Маяковскому — и сурово покаран самиздатский «Синтаксис». Но, во-первых, «у Маяка» звучали такие, скажем, строки:

суду, возмутился и довольно веско — на правах хозяина — распорядился, чтобы я забирал Леню, уже в дым пьяного, ко всем чертям, и что он не намерен терпеть его выходки. Я был оскорблен за Леню и возмущен поведением Эдмунда, покусившегося ради сохранности паршивого продавленного дивана — на святое, на гениальный Ленеичкин распев и влечение. Я стрел со-противлявшегося Ленеичку, порывавшегося «дуть в морду мешанину» (кстати, ростом он доходил Эдику хорошо если до подбородка), кос-как вывел на улицу, уговорил таксиста все-таки посадить нас, привез к себе. Я рассказываю все это отнюдь не из соображений развлечь кого-то пикантными подробностями из жизни божьего, но лишь для иллюстрации того, как быстро и неостановимо Леня деградировал. Что и объясняет его страшный конец...

Итак, я позвонил Лене, и мы с Женьей Харитоновым тут же получили приглашение срочно приехать. Мы застали его относительно трезвым, но в состоянии самом жалком. Был будний день, все родные — на работе, и Леня провел нас в свою комнату, оставив открытой дверь, — обычно он ее плотно прикрывал, что не мешало его мамаше то и дело соваться к нему, проверяя, не пьет ли. Это были весьма неприятные сцены, поскольку Леня по-мальчишечьи визжал на нее и чуть не плакал от досады и стыда перед приятелями. Женья принялся говорить ему комплименты, рассказывать, как некогда в общезнати ВГИКа его стихи ходили по рукам. Леня слушал вполуха, было видно, что ему все это абсолютно неинтересно, и постепенно стал проявлять признаки нетерпения, а там и настоящей тревоги. Свидание двух творцов явно не клеилось. Тогда я предложил пройтись по воздуху, благо был май, теплынь и благодать. Леня отозвался с поспешностью. Женья же, едва мы оказались на улице, решил откланяться. Естественно, мы должны были уехать вместе. Леня взглянул на меня с совершенным отчаянием. И, наконец, обращаясь к обим, с трудом молвил: «А три рубля у вас будет?» Я дал ему три рубля. Схватив бумажку, Леня, уже отбросив какие-либо полетесы, второпях кивнул нам и стал удаляться скомканной торопливой походкой, даже не подав на прощание руки. Он шел прямо по направлению к магазину и вдруг замахал, затрепетал, кого-то приветствуя. И нам было видно, как от стены магазина отделилась и выросла такая же помятая фигурка — человек до того, видно, сидел на корточках — и тоже радостно подалась Лене навстречу. Я навсегда запомнил фразу, которую выговорил Женья одними губами, слово про себя: «Лучше бы я этого не видел...»

Это была наша последняя встреча с Ленеичкой.

Известие о его смерти в августе 1983 года я получил так поздно, что уже не успевал на кладбище — партияная его мамаша, во-первых, запретила его, верующего, отвезти, во-вторых, хотела всячески ограничить круг друзей на поминках — не столько даже из экономии, сколько полагая простодушно, что это именно дурная компания таких же, как сам Леня, бедолаг от совести, которых всячески унижали и гнали за их дар, а не волчьей власти, которой она так ревностно служила, губила сына. Об этих поминках тяжело вспоминать. Царил на них тот чопорный мешанский дух, который дает соединение в одной семье пролетарскости и партийности. Помню, старший брат Лени, рабочий, странно крупного размера, если учесть низкорослость младшего, тяжело сложился на столе кулаки, смотрел на нас с Березковым безо всякого выражения — так смотрят на неопасные, но ядовитые образования, скажем, на поганки в лесу. Никакой чрезвычайной скорби не было; я поймал себя на мысли, что эти простые люди и в печали втайне испытывают облегчение от того, что Ленин прожитый дар, сделавший и их мирную жизнь полной нескладности и тревоги, наконец иссяк, мятежный дух его утомился, а тело прилично потрепано — как положено. Выяснилось и детали его гибели. Когда Леня умер, родители его несколько дней как были на своем садовом участке. Они нашли сына сидящим на диване откинувшись. Судя по количеству немой посуды и пустых бутылок, в квартире были несколько дней не меньше пяти человек. Умер Ленеичка от остановки сердца, причем его неведомые соратники никогда не дали о себе знать. То ли они, когда ему стало плохо, сбегали от испуга. То ли покинули его раньше и умер он в одиночестве и пьяном забытии. Во всяком случае, мать, уже подползла к квартире, услышала запах разложения — стояла густая августовская жара. Похоронили Леню Губанова на Востряковский кладбище, насыпали могильный холмик и воткнули табличку с номером. Я никогда не был на его могиле. Я вообще не любитель этого языческого жанра. Достаточно того, что я его помню. И по-прежнему люблю.